

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ

ШМЕЛЕВ

Няня из Москвы



КЛАССИКА РУССКОЙ
ДУХОВНОЙ ПРОЗЫ

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ
«НИКЕЯ»

Классика русской духовной прозы

Иван Шмелев

Няня из Москвы

«Никея»

1933

УДК 821.161.1
ББК 86.372+84(2Рос=Рус)1

Шмелев И. С.

Няня из Москвы / И. С. Шмелев — «Никея», 1933 — (Классика русской духовной прозы)

«Няня из Москвы» – роман «зрелого» периода творчества известного русского писателя-эмигранта Ивана Сергеевича Шмелева. Книга была создана в начале 1930-х годов, после отъезда писателя из России, потери родины и единственного горячо любимого им сына. Как сохранить дом, семью и внутренний мир, когда внешний мир вокруг разрушается? Этот вопрос становится одним из главных в романе. Образ простой русской няни оказывается спасительным в мире, где изживаются традиции, а души людей все больше опустошаются.

УДК 821.161.1
ББК 86.372+84(2Рос=Рус)1

© Шмелев И. С., 1933
© Никея, 1933

Содержание

Предисловие	5
I	6
II	9
III	13
IV	15
V	17
VI	19
VII	22
VIII	24
IX	26
X	29
XI	31
XII	34
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Иван Шмелев

Няня из Москвы

Предисловие

И. С. Шмелев (1873–1956) прожил длинную, трудную жизнь. Потерял горячо любимого сына, который был расстрелян во время красного террора в Крыму. Потерял и свою родину, покинув Россию, где всё напоминало ему об этой трагедии. Живя в эмиграции, И. С. Шмелев пытается восстановить в своем творчестве историческое пространство России, но перед этим он «восстанавливает» свою собственную душу, свою утраченную целостность. Преодоление хаоса внутри себя и обретение общей национальной памяти – таков духовный контекст романа Шмелева «Няня из Москвы» (1932–1933, Париж).

Родился Шмелев в Москве, в небогатой купеческой семье, учился в гимназии, потом – в Московском университете на юридическом факультете. В 1895 году женился, и вскоре родился его сын Сергей.

1919–1922 годы – самое страшное время для Шмелева. Сергея расстреливают в Крымских подвалах ЧК как участника Добровольческой армии.

«Воскресение» Шмелева наступает только в эмиграции, и «Няня из Москвы» – одно из свидетельств этому. Само название романа отсылает нас к пушкинской Арине Родионовне, к образу русской няни, хранящей теплоту домашнего очага и традиционный уклад жизни.

«Няня из Москвы» не может главенствовать в семье Глафиры, Константина и их дочери – избалованной Катички. Молясь за всех по ночам, няня сохраняет истинное тепло любви в этой полураспавшейся семье.

В романе борются две стихии – стихия хаоса (хаос революционных лет и разрушающейся семьи) и противостоящая ей сила созидания и гармонии. Победить разрушение поможет она, необразованная, но освящающая все любовью – старенькая няня Дарья Степановна. Созидание после душевной, духовной и государственной разрухи возможно – пока существуют «няни из Москвы», которых не учили жить «для саморазвития», но которым была дана способность смиренно создавать святость обыденности и целомудрие домашнего очага.

Татьяна Радомская

I

..А вот и нашла, добрые люди указали, записочка ваша довела. Да хорошо – то как у вас, барыня, – и тихо, и привольно, будто опять у себя в Москве живете. Ну, как не помнить, с Катичкой еще все к вам ходили, играть ее приводила к Ниночке. Покорно благодарю, что уж вам беспокоиться, я поимши чайку поехала. И самоварчик у вас, смотреть приятно. Вспомнишь-то, Господи... и куда девалось! Бывало, приведу Катичку... – дом у вас чисто дворец был, – они с лопаточками в саду, снежок копают, а меня экономя к а ваша... носастенькая такая у вас жила, – Аграфена Семеновна, ай Агафья Семеновна?... – чайком, бывало, попоит с рябиновым вареньем, а то из китайских яблочков, – любила я из китайских. Тут их чтой-то и не видать... – воды им, что ль, тут нет, и в Америке этой не видала. А как же, и там я побывала... И где я не побывала, сказать только не сумею. И терраска у вас, и лужайка... березок вот только нет. Сад у вас, правда, побольше был, не сравнять, как парки... грибок раз белый нашла, хоть и Москва. Помню-то? Пустяки вот помню, а нужного чего и забудешь, голова уж не та, все путаю. Елка, помню, у вас росла, бо-льшая... барин лампочки еще на ней зажигали на Рождестве, и бутылочки все висели, а мы в окошечки любовались, под музыку. И всем какие подарки были!.. И все – как во сне словно.

А вы, барыня, не отчаивайтесь, зачем так... какие же вы нищие! Живете слава Богу, и барин все-таки при занятии, лавочку завели... все лучше, чем подначальный какой. Известно, скучно после своих делов, ворочали-то как... а надо Бога благодарить. Под мостами, вон, говорят, ночуют... А где я живу-то, генерал один... у француза на побегушках служит! А вы все-таки при себе живете. И до радости, может, доживете, не такие уж вы старые. Сорок седьмой... а я – больше вам, думала. Ну, не то, чтобы постарели, а... погрузнели. В церкви как увидала – не узнала и не узнала... маленько словно постарели. Горе-то одного рака красит.

А уж красивые вы были, барыня... ну, прямо купидомчик, залюбуешься. Живые, веселые такие, а как бриллианты наденете, и тут, и тут, и на волосах, – ну, чисто царевна-королевна! Нет, не то чтобы подурнели, вы и теперь красивые, а... годы-то красоты не прибавляют, до кого ни доведись. Барин-покойник скажут, бывало, про вас Глафире Алексеевне, – «уж как я расположен к Медынке с Ордынки!» – так вся и побелеет, истинный Бог. Ну, понятно, ревновала. А как и не ревновать... сокол-то какой был, и веселый, и обходительный, и занятие их такое, при женском поле все, доктор женский! Только, бывало, и звонят, только и звонят, – прахтика ведь у них была большая. И это случалось, вздорились, и меня в ихние разговоры путали, Глафира-то Алексеевна. Я еще до Катички у них жила, от мамы с ними перешла, в приданое словно, – уж как за свою и считали. А помирал когда барин, – Глафира Алексеевна... это уж в Крыму было... Ну, что покойников ворошить, Царство Небесное, Господь с ними.

И малинку сами варили, барыня? Мастерицы вы стали, обучились, – ягодка к ягодке, наливные все. А то и не доходили ни до чего. А чего и доходить, прислуги полон дом был. И дома редко бывали, гости вот когда разве, а то тейтры, а то балы... Ниночку замуж выдали... так, так. Письмецо Катичка читала, в Америке этой получили. Да маленько словно порасстроилась, попеняла, – «все вон судьбу нашли, одна я непритычная такая, мыкаюсь с тобой, с дурой...» Да нет, любит она меня, а это уж так. Не ей бы говорить, отбою от женихов не было, так хвостом и ходили, и посейчас все одолевают. Да что, милая барыня, и никто ее не поймет, чего ей надо, такая беспокойная. Уж и натерзалась я с ней, наплакалась...

А в Америке апельсиновое больше варенье нам подавали, а то персиковое. Просила Катичку, – купи мне яблочков, вареньица я сварю, – так ни разу и не купила. У них там американское, конечно, варенье, пусто-е... суроп один надушенный, и доро-го-е! А свое-то варить не позволяют. Мы там в номерах жили, на самом наверху, на двадцатом этаже, чисто на каланче, – ну, огня и не позволяют, пожару боятся. Уж и высо-та-а!.. – в окошечко как

глянешь, сердце и упадет. Эти гуделки вот, – ну, как спишешные коробочки, а человека и не разглядеть, – как сор. Видала-то, говорите... Да уж чего-чего не видала. И по морям-то меня возили, и со зверями в клетке сидели... Сидели, барыня, с самыми-то страшными, львы-тигры вот... истинный Господь. И еще обезьяна, ножиком нас запороть хотела... и как царицу ихнюю на огне жгли, глядеть ходили, где вот... голые все там ходят, а тут обвязочка. Скажи другой – сама бы не поверила. И чего же надумала, – на еропланах подымать меня собралась, с идолом с тем, с американским, с трубкой все к нам ходил. Да я наземь упала, не далась. «Нет, голубушка, ты уж, говорю, хоть за небо лети, а я погожу, по земле еще похожу». Она-то уж летала, сорвиголова стала, – не узнаете и не узнаете. А такое уж у ней теперь занятие... и в море топиться возят, и из пистолетов в нее паляют, и портреты с нее сымают... – понятно, для представления, уж вам известно. В такой-то славе она теперь... по-ихнему – уж звезда стала, вон как!

Да с чего уж вам и рассказывать – не знаю, от очуменья никак все не отойду. Увижу во сне, – опять будто в Америке живу, на тычке сижу одна-одинешенька – так меня в пот и бросит. Да как же, барыня... Перво-то время вместе мы жили с Катичкой, и каждый день у нас с ней неприятности: «да связала ты меня по рукам – по ногам, да куда мне тебя, старую, девать...» – характер уж у ней стал портиться. Просилась у ней – «стесняю тебя, может, хоть в Париж меня отвези, там знакомые у меня, будто свое уж место, и в церкву дорогу знаю». Разнежится она, «нет, погоди... и все-таки я к тебе привышна... да ты мне нужна, да как я без тебя буду?» А и часу со мной не посидит. Убежит в омут этот страшный по своим делам, а я плачу-сiju, слезть-то одна не смею, сiju-молюсь, ее бы не задавили на низу там. А как наказала она себя ждать, а сама за тыщи верст улетела, на еропла-нах, мигалки вот где изготавляют... вот-вот, в снима-то эти, сымаются на картинки где, я и конца себе не чаяла. Абраша, спасибо еще, попался, с нашей стороны, жид-еврей, Тульской губернии... Да легкое ли дело, одна-одинешенька, в чужом месте, в американском, на двадцатом этаже, сказать по-ихнему не умею... Ну, наказала себя ждать, с дилехторами все у ней разговоры шли, велела половым ихним кушать мне приносить. А они без зову не приходят, в разные им пуговики надо тыкать, в иликтрический звонок. Ткнула раз, – смерть чайку захотелось, – приходит арап зубастый, давай на меня лаять, по-ихнему, и на полсапожки тычет, велит скидывать. Все и потешались. Три арапа приходили, все одинаки. И обед-то от них принимать неприятно, чисто тебе собака принесла. Абраша меня и вызволил, взял к себе на постой, в квартиру, деньги-то такие не платить.

Ну, возила она меня в собор наш, в русский... хороший такой собор, и образа богатые, наши образа, барыня. Все-таки они нашу веру почитают. А потом меня Соломон Григорыич провожал, Абрашин папаша, старичок. Ну, маленько отойдешь там, помолишься. А мы тогда прямо голову с Катичкой потеряли, Васенька шибко заболел, она и помчалась служить молебн, на себя непохожа стала. Да вы его словно видали, в Москве он у нас бывал. Да в Ласковое вы приезжали перед войной к нам, два денька гостили, еще барин верхом с вами ускакал, и до ночи вы катались, а барыня серча-ла!.. В имени у них, у Васеньки, и лошадок брали... ну, вот, вспомнили. Говорите, как я все помню. Где же всего упомнить, память старая – наметка рваная, рыбку не выловит, а грязи вытащит. Да я и хорошего чего помню. Васенька в студентах учился, а имение их с нашим рядом, миллионеры были, один сын у отца. Вот-вот, самые Ковровы они и есть, припомнили. Как же, и он тоже в Америку попал, полковник уж тогда был, а у них в анжинера вышел, хорошую должность получил, иликтрическую. Уж он с нами канителился, и в Костинтинополе, и в Крыму... спас ведь от смерти нас! Убежит она из дому, чего-то им недовольна, он и сидит со мной, и молчит. А раз и говорит:

– Ах, няня-няня... сколько я всего вынес, три пули меня прострелили – и цел остался, а Катичка меня измучила!

Через себя сказал, скрытный он. Да это, барыня, знать надо, сразу-то не поймете. И нескладно я говорю, простите... голова чисто решето стала. И то подумать: где меня только не носило, весь свет исколесила. Я уж по череду вам лучше, а то собьюсь. Чего, может, и присоветуете, душа за Катичку изболелась. И приехала-то я затем больше, правду-то вам сказать...

II

В Америке-то очутились? Это я вам скажу, а сперва-то я вам... Ну, что ж, позвольте, чашечку еще выпью. Хороший у вас чай, барыня, деликатный, а с прежним все-таки не сравнить. Бывало, пьешь-пьешь... ну, не упьешься, до чего же духовит!

А ведь это Господь меня к вам привел, Господь. Стою наемни в церкви, на Рю-Дарю, и такая тоска на меня напала... молюсь-плачу. У Марфы Петровны я пристала, в нянях она у графа Комарова раньше жила... Вот-вот, самый тот Комаров-граф, сколько домов в Москве, высокого положения. Так и прижилась, они ее с собой и вывезли. Все уж у них повывосили, и прожились они тут, ни синь-пороха не осталось, а графиня померла в прошедшем году. Теперь один сын на балалайке играет в ресторане, офицер, а постарше – в дипломата хотел попасть, да уж расстройка вышла, он теперь, Марфа Петровна сказывала, дальше Америки уехал. А дочка у высокой княгини платья для показа примеряет, вон как. Марфу Петровну знакомые и взяли, – дочка у них за рестораником нашим, – ее и взяли за девочкой ходить. И комнатка ей на чердачке, тут уж так полагается. Она меня и приютила. Правду сказать, не бедная я какая, смиловался Господь, за себя плачу... Катичка мне дала деньжонок, и не в обрез... Деньги-то? Да она теперь, барыня, столько добывать стала, – не сосчитать! И богачи ихние к ней сватаются все, она только не желает. Такие чудеса, никто и не поверит.

Ну, стою в церкви и плачу, себя жалею... бо-звать чего надумываю: вот, дожила... обгрызочком за порожком стала, никому не нужна. С думы так. И за Катичку-то тревожусь, как она там одна. Катичка-то? Да очень любит, и уезжала я – плакала... да, говорится, одна слеза катилась, другая воротилась... молода, ветерком обдует и... Пойду, думаю, поставлю свечку Николе-Угоднику-батюшке, забыла ему поставить. А он сколько спасал-то нас, с иконкой его так и поехала из Москвы... старинная, от тятеньки покойного. Так это в уме мне – пойду-поставлю! А уж и обедня отходила. «Отче наш» пропели. Подхожу к ящику свечному, а вы меня и окликнули. Я даже затряслась, как вы меня окликнули – «няничка»! И как вы меня узнали, неуж по голосу... разговор у меня такой, тульской все? А-а, по «смородинке» по моей... ишь, ведь упомянули! А я бы вас нипочем бы не признала. Чисто смородинка у меня на лице, ваша Ниночка все, бывало, – «няня-смородинка», звала... а то «родинка-уродинка». Вот и пригодилась уродинка.

Ниночка-то ничего живет? Так-так, за шофером, офицер тоже был. Так, так... красоту делать обучается. Слыхала, как же, барыням щеки натирают, боту делают. Ну-к что ж, что небогато живут... а кто теперь богато-то живет! Сыты, одеты, обуты, – и слава Тебе, Господи. Катичка и в богатстве вон, а... Мало чего она Ниночке напишет, а сердечко ее я знаю. А чего она может написать? При мне и писала, на одной ноге плясала, все некогда. Видите, как я верно, – открыточку... не любит она толком написать, знаю ее характер. Недолго наживет она там, с американцами, до первой обиды только. Мне Абраша сказывал, а уж он там все-то дырки облазил, ихние порядки знает:

«И зачем вас барышня пускает от себя, мамаша дорогая!» – все он меня так – мамаша дорогая. – «У нас здесь один разговор... то ли ты горло кому перегрызи, то ли тебе голову оторвут!» – так все говорил. – «Старинный глаз тут нужен, а то барышню могут оскандальить, которая красавица и без свидетелей, и от суда откупятся».

И папаша его, с кем вот ехала я оттуда, Соломон Григорьич, хороший такой мужчина, уж старичок... наш тоже, тульской, портной из Тулы военный, тоже сбежал от ихних порядков, не мог привыкнуть. А человек терпеливый, во всех квасах, говорит, мочен. Такой-то жалетель душевный оказался... Ехали мы с ним на корабле, семеро суток по морю-океяну ехали, вот я тошнилась, – помру, думала. А он со мной рядышком тоже тошился, все меня утешал:

«Ох, чуточку потерпеть осталось, Дарья Степановна... ох, зато от Америки этой дальше уезжаем, бел-свет увидим...» – все меня развлекало.

А его другой сын выписал к себе, в ихние палестины, в Старый Ерусалим, – и у них тоже там святое место. Про Катичку-то я вам... И рвалась я оттуда, а ради Катички уж терпела, как я ее одну оставлю. Девочка она красивенькая, привлекающая, так круг ее и ходят, зубами щелкают... ну, долго ли с пути сбиться. А она на таком виду, при таком параде теперь... И всего там за деньги можно, а де-нег там... душу купят и продадут, и в карман покладут, вот как. Она и бойка-бойка, а и на бойку найдут опойку. Говорится-то – на тихого Бог нанесет, а бойкой сам себе натрясет. Ну, она меня уж и отпустила, и попутчик такой надежный, Соломон Григорьич. Поняла, может, что погибать мне с ними, не миновать... ну, непричальна я к тем порядкам, к американским ихним. Да Васеньку-то она заканителила, и идол тот навязался, – роман и роман страшный. Уж как все расканителился – не скажу. Не подумайте чего, барыня... она вот как не желала меня пускать, а я все... так уж Богу угодно, мысли все у меня такие были – поехать надо. Ночи не спала, все думала – поехать и поехать, совета попросить. Да вот, про Катичку-то... Да сразу, барыня, не понять, это все знать надо. Идол тот, думается мне так, зуб на меня точил. А вот ее все, мол, оберегаю. Он, может, и уговорил Катичку отпустить меня, правды-то всей не знаю. Да еще я, барыня, попугать ее, просилась-то, отвезти-то меня, а сама нипочем бы не уехала, своей-то волей. Да нет, ничего, барыня, не путаю, а... на мысли вступило мне, поехать и поехать по одному делу. Да дело-то не важное, а... Уж и натерпелась я там, наплакалась-наглоталась. Ну, она мне и... – «что ж, поезжай, там тебе повеселей будет...» – дозволение и дала. И люблю ее, а поехала... будто так надо, в мысли набилось мне. Может, чего и выйдет, к лучшему. Да и правда: тут-то я хоть в церкву схожу, душу отведу, а там как привязанная я словно, да напужена-то, шум такой... чистый ад! И все будто сумашедчие какие, слова доброго не услышишь, дела до человека нет. Тут народ, барыня, вежливей, сравнять нельзя: и улицу покажут, и... Уехала я, вот и ее, может, подманю: соскучится по мне – скорей приедет.

Не окликните вы меня, так бы я вас и не разыскала. Был у меня адресок на бумажке ваш, Катичка дала. Провела меня Марфа Петровна до земной дороги, под землю лезть, в вагон посадила, наказала пять станций считать и вылезать. Ну, вывели меня из-под земли, стала бумажку совать человеку одному, а ветром ее и выхлестнуло. А там омут чистый, автомобили гудут, вагоны крутятся, – завертело мою бумажку под колеса. Искали с ихним городовым, и человек тот с нами ходил-искал... хорошие, спасибо, люди попались, вникающие. Объясняю им – адрист улетел, ф-фы! – поняли, пожалели – не нашли. Поехала я назад к Марфе Петровне. Спасибо, карточка хозяина ее была с адреском, а то бы и ее не нашла. Да еще молодчик один на меня поантересовался, признал – русского я роду, шофер: «садитесь, бабушка, я вас доставлю в сохранности, куды вам?» Заплакала я прямо. Довез акурат до квартиры, ни копейки не взял. – «У меня, – говорит, – мамаша теперь такая же старушка, в России нашей». Уж такой обходительный, сурьезный, из офицеров тоже. А в церкви вы меня и опознали, Господь привел.

В Америку-то как попали? А разве Катичка Ниночке не отписала? Правда, голову уж она тут потеряла, Васенька заболел. Да вы сразу-то не поймете, идол тот замешался. Идол-то... Да он, может, и ничего, а вроде как шатуший, лизун. Это он меня так прозвал – и-дол! – осерчал. Привела его Катичка меня показать, чисто чуду какую... много ему про меня наплела, что вот не может без меня быть, – то-се. При нем меня и поцеловала, стала нахваливать, по голосу уж слышу. А он ощерился, и пальцем в меня – «и-дол!» – говорит. А Катичка после сказала – «иконкой» она меня назвала ему. Она меня, бывало, – «иконка ты моя, не могу я без тебя!» – это уж как разнежится. А тот на меня – и-дол! – почитает, дескать, она меня шибко! А сам вроде как искутан, лицо такое неприятное, кирпичом, никогда и не улыбнется, зубы покажет только, какие-то они у него... железные словно, а не золотые, смотреть даже неприятно. А бога-ач... денег некуда девать, полны подвалы. Все при деле там, а он надоел

звонками. Много уж за сорок ему, и одутлый, а навязался и навязался. И со всеми дилехторами будто знаком, сымаются вот где. Где уж она его сыскала, – не отцепляется, так вот и стережет. А она потешается: идол к нам, она Васеньку вызвонит, повернется перед ними и убежит. Они и сидят, как глупые. Говорила ей – «навязался человек, без путя ходит... да ну-ка еще женатый!» Да уж она волю-то взяла, узды на нее нету, разве она слов слушает. А ей голову закрутили, во всех ведомостях печатают, шмыгалы к нам повадились, карточки с ее шелкают... – уж она показная стала. А де-нег у него... ни в какие банки не укладешь, сам будто делает! Не вздор, барыня, а сущая правда. А, может, и нахвастал. Заехал как-то, в телефон покричал минутку и говорит Катичке: «сейчас я на ваше счастье милиен сделал!» А она повернулась так, гордо ему – «что мало?» – и ушла, ни слова не говоря. Он глазищами на меня похлопал, я ему и сказала: «и нечего, батюшка, вам тут, лучше бы домой шли». Съесть хотел меня, прямо.

Чего уж она наболтала про меня, только он меня невзлюбил. Все и думала – господ бы Медынкиных повстречать, про вас. А где вы – и знать мы не знали, живы ли. Оборвется, думаю, у нас с Катичкой, где нам искать защиты? А вы с Катичкой ласковы всегда были, подарки какие всегда дарили, – помога не помога, а все ей совет дадите, и все-таки одержка, очень она своевольная, меня не слушает... и с Васенькой, может, уладили бы дело. Другой бы ее сразу обломал, а он благородного карактера, все терпел. А как заноза в нее насела... Да это по череду сказать надо, а то не поймете. А это артист один, баринов адресок Катичке сказал, на лавочку, она и отписала Ниночке. Артист-то? Он барину на лавочку писал, а барин и не ответил. Нет, фамилию не упомяну, какая-то мудреная... Мен-дриков, что ли? и еще как-то... Кандрихов? Две у него фамилии будто. Все бухвостил: «Я у них на Ордынке театры играл, без ума все от меня были, а Варвара Никитишна перстень, – говорит, – мне изумрудный поднесла!»

Может, что и наплел, как вы-то говорите. Будто за тот перстень дом купить можно было, а он его за мешок муки выменял, голодал. Верно, барыня, мало ль чего насажут. Краснобай такой, балахвост.

Катичка ему – «а, пустая вы балаболка!» – а он в ладошки – «поклоняюсь, поклоняюсь!» – никакого стыда. Да больше ничего словно не говорил. Да, вот чего еще говорил:

– Это Медынкин на меня серчает – и адреска барыни не дает. А теперь старое помнить грех, все мы как потонули, будто уж на том свете. Все равно я ее бесприменно разыщу!

Разыщу, говорит, – так и сказал. Такой настойчивый... В соборе он нам попался. Из себя-то? Да не так, чтобы ахтителный какой, и уж немолодой, а видный такой мужчина, брюзглый только, брыластый такой, губастый. Ну, попался он нам в соборе... совсем без копейки оказался, и уж стали его выгонять из Америки, что беспачпортный. А тоже чего-то там представлял, разбойника, что ли, – Катичка говорила. А одета она шикарно, и к собору мы с ней на автомобиле подкатили, – он тут и подскочи. А разговор у них свойский, дерзкие они все – «Как так, не помните! А в Париже-то мы крутили с вами!...»

Чего сказал! Катичка ему и отпела, перчаткой так: «Извините, не помню... и хочу молиться!»

Расстроены мы, Васенька заболел... а он пристал и пристал. Отслужили молебен, и он с нами помолился, на коленках даже стоял, – не отцепляется. Поплакал даже с нами, так и расположил.

«Каждый, – говорит, – день в соборе плачу-молюсь, ничего больше нам не осталось, потонули мы все бездонно».

Так и расположил. И фамилии всякие, и то, и се... и знаменитые-то вы стали, и про Москву, слово за слово – вас и помянул. Тут и распуталось. Сколько-то она ему помогла, зеленую бумажку даже поцеловал. А то бы пропадать ему: велят сейчас же на пароход садаться и отъезжать. Такие там порядки, чтобы выгонять, который беспачпортный. А кто и денег при себе не имеет, прямо в тюрьму сажают. А кто большие деньги имеет, ото всего может откупиться. А он и в Париже нашем уж побывал, только вас не мог разыскать никак.

«Лечу, – говорит, – на вокзал, счастья пытаться в Америку, и пароход меня дожидается. Глядь – русская лавочка! Дай, думаю, водочки прихвачу и хоть котлеток наших, а то в Америке не достать. Все, – говорит, – родимое вспомнилось, вбегаю в лавочку... ба-а! – сам господин Медынкин грешневую крупу совочком в пакет швыряет! Только расцеловались, адресок лавочки записал, – поезд ждет, опоздаю на пароход».

Как заплетается-то у нас, барыня, чисто в жмурки играем по белу свету. А еще вот, – ну, прямо не поверишь, как расшвыряло. Стало быть, лавошница наша, в Москве мы жили... хорошая такая, богомольная, Авдотья Васильевна Головкова... – и что же, барыня! Где это вот Дунай-река... как это место-то?... нам цыган венгерский еще попался, на гитаре все звонил?... Правда, у ж по череду лучше, а то собьюсь. Ну, сулился беспрерывно к вам побывать, в Америке уж все у него оборвалось.

«Только бы до Парижа докатиться, а там опять, – говорит, – встану на ноги. Я у них свой человек был, танцы с простыней танцевали... и у них беспрерывно деньги имеются».

Такой нахал, сушью правду говорите, до чего бесстыжий. Ну, какое кому дело до чужого кармана, вывезли или не вывезли! А уж эти антилигенты, барыня, дочего же завистливы! В Москве сколько насмотрелась. Ну, известно, не все... а насмотрелась.

«Они, – говорит, – с заграницей торговали, у них беспрерывно в банках тут капиталы спрятаны, а лавочка для прилику только». Уж такой-то наглый, не дай Бог. «Должны быть деньги, секретные». Как это он?... не секретные, а... Те-мные, вот как. – «Я бы, – говорит, – и в Америку не пустился, далищу такую, киселя хлебать, кабы знать, что Варвара Никитишна близко так». А уж говору-ун!.. «Что мне Америка-то, что мертвому греку пиявка, пользы никакой нет». Да уж билет выправил, и денег ему вперед задали, дилехтора. «Закадычные, – говорит, – друзья с ней были, из одного стаканчика пили, и портретик ихний в медальоне у меня был, да в дороге оторвался».

Прямо са-нтажист, верное ваше слово. Придет, а Катичка растереха, колечки-брошки валяются, где неслед, бриллианты-жемчуга все какие, большие тыщи плачены, – упаси Бог, человека соблазним. Я и поприберу. Все к обеду потрафлял, изголодался. А собирается, не раз поминал. Разве вот с идолом-то завертится. А как же, и к нему прицепился, да они попусту давать не любят, там и прикурить-то так не дадут. Думается так, уж не принянял ли его идол-то на тайное какое дело, досматривать... Да нет, сразу-то не поймете, тут все по череду знать надо. Да нет, ничего словно больше не говорил, – про перстенок, да что вот портретик оторвался.

«Теперь бы, – говорит, – этот перстенок... на автомобилях бы раскатывал».

III

Про Васеньку-то я вам... А это она занозу свою все помнила, – знать-то все, – терзала-то его. Она и сама терзалась. Значит, Ковров по фамилии, соседи с нашим именищем. Сами знаете, какое у барина именище было, от тетки им выпало, поскребушки. Тетку они давно уж начисто обглодали. Как померла, они в банки побегли справиться, капиталы искали, а ничего и нет, пустой ящик. Как так, должны быть капиталы! А у ней лакей-старичок, сорок годов жил, – не он ли прибрал к рукам? Ну, оправдался, тыща рублей у него только, оказалось, на книжке на сберегательной. Выдало им начальство бумаги тетчины, а там все и прописано, сколько они с нее денег перебрали, сами-то даже ахнули... весь ее капитал повыбрали. Уж такие-то бессмысленные... а хорошие были люди, грех похулить.

Верно говорите, много барин прахтикой добывал, с другой барыни и по пять тыщ за операцию брал, и приют на свою акушерку держали, а жили-то они как, барыня! Глафира Алексеевна и одетая любили, и в заграницу ездили, и свои тоже расходы были, на студентов помогали, и... Уж покойники оба, а правду вам сказать, денежек что ушло на шантрапу на всякую! Незаконные к ней ходили, полиция вот ловила... с парадного позвонится, часто так – дыр-дыр-дыр, она сама и бежит, по знаку. Посушукаются, – и сейчас в шифонерку, за деньгами. Конечно, не мое дело, а она, простосердая, всему верила. Сказала ей раз, а она мне:

«Для тебя, глупая, стараются-страдают, да не понять тебе только!»

Барин поморщится, скажет:

«Прорва какая-то, надо же разбираться, милочка!»

А она все так:

«Это же наш долг, Костик».

Как уж они столько задолжали, уж и не знаю. Да наскочила еще на хахалю одного, стал он с нее денежки тащить. А он в ведомостях про жуликов печатал. Она глупое письмецо написала, а он прознал, стал грозиться: давайте три тыщи, а то пропечатаю письмо! Прибежала ко мне, голову потеряла:

«Ай, няничка... ославит на всю Москву, и Костик узнает!..»

Все мне, бывало, доверялась; я ее с семи лет ведь знала. А письмо-то к музыканту было, Катичкину учителю. Как уж он его выкрал – не скажу. Было-то чего с музыкантом?.. В доточности не знаю, а... Ну, что, барыня, ворошить, Господь с ними, покойница давно. Ну, выкрал и выкрал. Достали мы за вексель у нашего лавошника Головкова три тыщи, а четыре заплати, на полгода, вон как. Я на образа божилась уж Головкову, отдадим, а он мне как казне верил. И измытарили меня те денежки. Барыня, прости ей, Господи, грех, у барина из карманов помалости вышаривала да мне, греховоднице, – на, попрячь. Больше году набирали, греха что было... в глаза я барину не могла смотреть, измучилась... за грех такой обещание дала сорок раз к Царице Небесной Иверской сходить, сходила. Наберем сполна, она на себя потратит, а Головков меня тербит. Спасибо, Авдотья Васильевна, желанная такая, просила супруга потерпеть. Вот святая душа! Тоже мотается по свету, глазочком только разок и повидала, где вот Дунай-то-река... А газетчик опять грозиться, вот-вот ославит, – тыщу еще давай! Совсем уж затеребил... под машину попал, выпимши. И грех, а мы, правду сказать, перекрестились. А ее все так почитали, Глафиру-то Алексеевну, она все книжки читала, и про все разговаривать умела, и в налехциях бывала, для простого народа все старалась. Две зимы все ходила с музыкантом книжки читать, а он на роялях все играл. Да тут, может, причина-то всему барин: очень она его любила, а он ее огорчал, ну, ей утешение и нужно было. Вот они с тетушки и тащили. А она Катичке кресна была, души в ней не чаяла, – они на Катичку и выпрашивали.

Да много было... А как и не быть-то у Костинтина Аркадьича забавкам!.. Помните, небось, сами... барыни-то ему покою не давали. Все богачки, листократия самая, время девать

некуда, только на баловство. Он к этому делу и пристрастился. А умный ведь какой был, все его так и слушают, как заговорит. Ото всех уважение, подарки, чего-чего не было!.. Высокое бы ему место вышло, кабы не помер да безобразия бы не случилось, большевиков этих. Ну, много тоже и на забавки уходило. Да что я вам, барыня, скажу... я уж и не жалею, что за ними мои пропали, боле двух тыщ пропало. Все едино, получи я свои зажитые – пропали бы. Всем деньгам конец пришел, и тяжелой копеечке, и легкому рублику. Ну, нет и нет у них денег, когда ни попроси.

«А зачем тебе, – скажут, – няничка, деньги... у нас целей будут». А то и так: «Ты уж, нянь, потерпи, вот получим скоро куш, сразу и отдадим».

Три рубли барин сунет, скажет – «это не в счет», – и все. А это они от тетки наследства ждали, куш-то. А хорошие были господа, жалеющие, лучше и не найти. Уж так-то ласковы со мной были, так-то... Заболею я, барин мне и градусник сам поставит, и компрес, и чайку с лимончиком принесет. И барыня, ночью даже вставала, так жалела.

«Няничка, – скажет, – труженица ты наша... самое ты наше дорогое, простой ты народ, тульская ты, мозолистая...» – и руку мне все поглаживает, истинный Бог. А то скажет еще, прости ей, Господи: «Да нам на тебя молиться, как на икону, надо... ведь ты свята-я!..» – а у них и икон-то не висело, и никогда и не молились.

А мне и слушать страшно, и стыдно мне, слезы и потекут. Гляжу на иконку на свою и молюсь: прости ей, Господи, неразумие и меня не осуди. Грешница я, – бывало, сладенького чего возьмешь, без спросу. Конфекты у них не переводились, и пастила, и печенья всякие, и прянички, и орешки заливные, чего-чего только не было! В деньгах, уберег Господь, не грешила и Аксюшу, бывало, не раз ловила. Расте-рехи-и... – ведь это что ж такое! У барыни, где ни поройся, то красенькую, то трешницу найдешь, в книжку засунет и забудет... А у барина в шубу за подкладку заваливались, да па-чки! А то приезжает раз, а у них в ботике семь золотых звенят, в дырку из кармана проскочили. А сколько на улице осталось, и не усчитали: много, говорит, было, карман прорвали. Как в доме денег нет, пойду-пошарю – всегда найду. Барин, бывало, загорячится – «как так нет? где-нибудь должны быть... в диван не завалились ли, в шубе глядите, за подкладкой!» А сладенького брала, по слабости. Барин, как газетку читать, перед взаседанием своим, на турецкий диван завалится и коробками обкладется, и то из одной, то из другой не глядя в рот сует. А денег вот не водилось. Им большое наследство выходило, да оглашенные по Москве палить стали, а там и все деньги отменились. Мы тогда барина в Крым свезли, не до того уж им было. И я бы зажитые получила.

IV

Про Васеньку-то я вам... Соседи по именицу, Ковровы. Стало быть Катичке счастье тут выходит, и в самый-то бы раз, потому совсем барину удавка пришла: затребовали пять тыщ за вексель, – какой-то он барышне по секрету обещался, а платить не из чего. А барыне сказал – старушку, мол, с Федором-лихачом они задавили и вексель дали внучке старушкиной, мировую сделать. А барыня всему верила. А какую уж там старушку, красная бы цена ей рублей двести, – с руками бы оторвали, небогатый кто, за старушку. Я Федора допытывала – смеялся. Барин ходит-насвистывает. Как свистит, я уж и знаю, – деньги нужны. Ну, перестал свистать... кто-то уж ему снабдил, а то и прахтикой постарался, извернулся. Барыня, помню, говорила все:

«Есть же мешки с деньгами, и не умеют распорядиться!» – завистовала вам, барыня, что шибко богаты вы. Завистовала. Бывало, скажет:

«И образования у купцов у этих на медный грош, а деньгами хоть подавись!»

Ссердцов, понятно... тревожилась семейным положением. А тут барин в бега ударился. Да нет, никуда не убегал, а по бегам стал ездить, деньги выигрывать. И вы, барыня, тогда ездили на бега глядеть. Ниночка еще песенку все нам пела – «лошадки скачут, а денежки плачут». Катичка ее обучила, наслушалась от папашеньки. Аграфена Семеновна, носастенькая, экономка, бывало, скажет:

«Покатила наша барыня на бега, деньги лошадкам повезла».

Ну, как не помнить, Ниночка с Катичкой билетиками все играли, вы им из сумочки вот какую кучку вытряхнете, пестренькие все, картоночки. Помню, приехали вы домой, веселые-развеселые, а снег валил, метель такая пошла, и уж темно стало, домой Катичку отводить пора.

А вы приехали, все-то в снегу, разрумянены, горячие, сбросили шубку соболью и давай по зале перед зеркалами танцевать, и пальчиками все прищелкивали. Как же-с, очень хорошо помню, в платье вы в самоновом были, рукава по сех пор, и такие вы счастливые были, барыня... и вдруг мне пять рублей золотой и подарили, ни за что! И Аграфене Семеновне золотой тоже выкинули, – сказали, что много наиграли. И красивые же вы были... прямо как купидомчик! Ну вот, вспомнили... засветились все, вовсе даже, барыня, помолодели! так и вспомнилось, какие вы красивые-то были. Да нет, вы и теперь красивые, барыня... да ведь у молоденьких своя красота, природная. И про билетики нам сказали, – каждый по большому золотому. Уж мы считали-считали, сколько же вы золотых-то наиграли... за две никак сотни золотых! А вы еще посмеялись: «ах, глупые-глупые, да это же все проиграно, а то бы я за картоночки денежки получила!» Теперь бы вот эти золотые... Да тогда разве думалось, что светопредставленье такое будет. Все в свое удовольствие, в себя жили, – вот и не думалось.

И барин в бега ударился, закружился. Его на прахтику требуют, а он по бегам гуляет. Барыня его как стыдила, ловить его ездила, бывало, для прахтики, – ни разу не поймала, увертливый очень был. И такой тоже развеселый, тоже Катичке картоночки все выкидывал. У нас тогда неприятность с барыниным братцем вышла. А как же, братец у них был, только незадачный вышел, по их сословию. Никому про него и не поминали, и к себе не пускали, от стыда. Аполитом его звали. Ну, не задался он у нас, у мамашеньки я тогда жила, его из имназии и выгнали, он и пошел на железную дорогу, в машинисты, и на портнишке женился. Черного уж стал звания, они и брезговали. Он придет, а барин в кабинет уйдут. И еще деньги он требовал, от мамы наследство, а деньги-то они прожили, а он знал, что и на его долю было... тыщи четыре денег, записка у барыни была посмертная. Ну, и неприятности. Сперва-то он ничего, смирялся. Пришел к барыне крестить звать, она отговорила. Обиделся он, шурами их назвал да сгоряча вазу китайскую им и разбил, – барин его чуть палкой не ударил. Скажу им – «Аполитушка вам братец родной, хорошего тоже роду, гнушаетесь-то зачем? а бедных жале-

ете. И он небогатый, руки мозолистые, пожалели бы его!» Перед знакомыми стыдились, что на портнишке женился. С горя-то он, узнали мы потом, в сацалисты приписался, всех чтобы разорять, с досады. Ну, разбил он вазу, она его выгнала, да расстроилась – побежала проветриться на мороз. А вы тут и подкатили на серых. Саночки легонькие у вас были, а кучер во-какой широченный, – как саночки не раздавит, дивились мы. Барыню не застали, а мы с Аксюшей черепки от вазы подбирали, как вы вошли. Ну вот, вспомнили. Барин с вами и покатили на бега. Я еще в окошечко залюбовалась, какие вы шикарные были, шик! Барин в ту зиму впух совсем проигрался, все туда денежки отвозил, как в банки... столько он просадил, – никакой прахтики не хватало. Вот тетеньку они тогда и начали донимать.

V

Бывало, скажут: не миновать – Иверскую подымать. Я-то понимала, чего греховодники думают. У нас не то что Царицу Небесную никогда не приглашали, а и батюшку с крестом не принимали. Как у нас расстройка какая, барыня в спальню запрется-плачет, я возьму водицы святой и покроплю, помолюсь за них. Ну, будто они дети несмысленные, жалко их. Образов у нас в доме не было, барыня не желала, по своему образованию, и свое благословение, мамаша их замуж благословила, она на дно сундука упрятала. В детской только я уж настояла Катерины-мученицы повесить образок к кровати, да в прихожей иконка висела, от старых жильцов осталась, вершочка два. А в темненькой у меня и лампадочка теплилась, Никола-Угодник у меня висел, в дорогу-то захватила, и еще Казанская-Матушка. А у них, чисто как у татаров, паутина одна в углах, боле ничего. Да, насмех будто, барин статуя голого купил, «Винерка» называется, в передний угол в зале поставил, под филоденры, – вот и молись. И что я вам, барыня, скажу... – с чего-то нас пауки одолели! Ну, одолели и одолели, сил нет. Навелось паука, так и распространяется. А чистоту строго наблюдали. Только обмела – опять паутина и паутина. Я уж барыне говорила:

«Смотрите, барыня, паука у нас сила несусветная... не к добру это».

Дернулась она, да с сердцем на меня так:

«Что ты мелешь? почему – не к добру?!» – а затревожилась.

«К пустоте, – говорю, – пауки одолевают... думатся так, по-деревенски».

«А, глупости... любишь всегда тревожить!»

А я сколько примечала, про паука-то, что к пустоте. Ну, нехорошо и нехорошо у нас, так-то нехорошо-невесело... ну, вот чуется мне пустота-глухота, чисто сарай. Барыня и давай зеркала оглядывать, хорошо ли привязаны. Ужас, как зеркалов боялись, как бы не разбилось.

За тетеньку они, Иверскую-то подымать: тетеньку в гости звать, хорошенечко засластить. Привезут в карете, давай угощать-улачивать:

«Ах, тетечка... ах, милая... совсем-то вы нас забыли, и как вам, тетечка золотая, не стыдно... а мыто скушаем, а мы-то для вас любимого пирожка со сливками, да рябчиков с мадерцовым совусом, и грушки душистые, по зубкам вам... а Катюньчик без вас жить не может...»

Так она и растает. И новую рояль Катюньчику, и на музыканта ей, и выигрышный билет ей... А как проигрался на бегах барин, они и подняли тетушку, всурьез уж. А она на ладан уж дышала, чуть жива, и палец все сосала, как малоумная. После угощения барин и бух перед ней на коленки. Упал и зарыдал. Уж так-то возрыдал, и ручки ей целовать. А он умел зарыдать, и слезы потекут, исхитрялся, от чувства так. Да я-то уж знаю, барыня, как они исхитрялись... И это у них сговорено так, с Глафирой Алексеевной. И глядеть-то, бывало, надоест, как они исхитряются. Как же не замечать-то, на моих глазах все... А гостей приглашать! спору сколько, будто дом покупать собираются: того не надо, какой от него прок, а эта прахтику может дать, обязательно надо завлечь... И место кому за столом какое – ну, все прикинут, чисто шелками вышьют. За глаза и ругнут, а зарятся. Фабрикантшу одну сколько годов ловили... только поймали, она и помри. Самую эту, Лопухову, доктору своему сто тыщ отказала, как барыня жалела!

Ну, упал-зарыдал, тетушка так и затрепыхалась, заклохоталась, кудри ему давай ерошить, в глаза глядеть...

«Ай, что такое, не пугай, Костинька... или опять накуролесил?...»

А она часто мирила их. А он рыдает!..

«Ах, у Глирочки чахотка в градусе, доктора на горы в заграницу посылают, а у нас нужда вопиющая, бумаги потеряли... поглядите на эту тень!..»

А барыня у притолоки стоит, бе-элая, напудрена, и в платочек покашливает. А тетенька слепая, за рукой не видит...

«Что ж вы мне раньше не сказали?! как можно запустить?!..»

Она сразу тогда – де-сять тыщ! Так всю и обглодали помаленьку. Проводят – и давай по зале танцевать. «Ах, милая старушка... ах, славная дите!» – так представляли хорошо, сама поверишь. Шутили-шутили да и нашутили. А вот доскажу. А померла она – и похоронить не в чем было, – в простом так гробу и схоронили, с одним-то факельщиком. И панихидки от них не дождалась. И старичку-лакею ее не пришлось за пять лет зажитого получить. Они ему старый умывальник вместо того отдали да царский портрет большой, старого царя.

А именнице она еще вживе Катичке отдала, летом на дачах жить. Мы с ней там и живали, а они редко когда заглянут. Там и с Васенькой познакомились, в крокет приезжал играть к нам. Тогда еще, примечала я, Катичка ему ндравилась. Ей годков десять было, а высокенькая уж была, в папашеньку, а ему к пятнадцати, пожалуй. С англичаном к нам приезжал, на высоких таких колесах, как в ящике. И у нас тогда миса жила, англичанка тоже, по фамилии Кислая... говорить Катичку по-ихнему учила, гордая да капризная... – все мы ее «кислая кошка» звали. А так обучила хорошо, все вон теперь дивятся, так за англичанку и признают, очень способная Катичка. А Кислая и влюбилась в барина! Как на икону на него молилась. Так-то она недурна была, жильная только очень, костистая. Что-то у них с барыней вышло, она и разочлась, сумочкой в барыню швырнула. А Катичке сказала – «всегда для вас все готова сделать!» И что же, барыня... ведь она как нам тут пригодилась, в загранице! Через ее мы англичанами чуть не стали, в Костантинополе когда бились... Она бо-знять чего про нас наплела, чуть ни царского роду мы с Катичкой, письмо послала старичку одному англичанскому со старушкой, а они по морям катались, вот к нам и приезжают, к «Золотой Клетке», где мы служили... ресторан такой. И свой корабль у них, страшные богачи... И вправду, уж я по порядку лучше.

Да, так вот тетеньку и похоронили.

VI

Верно, барыня, много добывал, да на много и дыр-то много. Сколько у них утех-то было, на каждой тумбочке! Да они всегда порядочные были, худого слова про них не скажу, верно вы говорите, – а все не ангел. Без пятнышка и курочки рябой нет. Лошадей они не держали, а был у них Федор-лихач, так он всех по Москве его канареек знал, нашему бутושнику сказывал. А бутושник у нас заслуженный был, кресты-медали, крестнику моему дядей доводился. Вот мне крестник и сказывал... рыбкой он в Охотном торговал, рыбку мороженую нам нашивал, судачков, наважку, копчущечек... – придет и шепнет:

«А у доктора новенькая завелась, в Таганке».

А то на Арбате. А барыня и не чует. Начнет как барыне душестых груш привозить либо цветы в корзинках, так я и примечала – новенькую нашел. Да какие же сплетни, барыня... живая правда. А барыню дострасти любил, а из баловства, для разгулки так. Барыня ведь красавица была, графской крови, по дедушке, а потом их из графов отменили... барыня мне не сказывала, а барин ее корил когда, что, мол, графы твои фамилию профуфукали за хорошие дела... а она в слезы, его корить – «а ты подзаборный мещанин!» Ну, мало чего бывает промежду супругов. Уж такая красавица, хрупенькая, на ладошку барин ее сажали и носили, как пирожок: «ах, галочка моя... ды-ах, цыганочка моя... ах, перышка моя!..» – заласкивал. А баловство бывало. И по городам бывали, для прахтики когда ездил. А у кого не бывает-то, барыня, деньги у кого вольные да человек веселый! И закону у них не было, строгости-соблюдения, и в церкву не ходили, о душе и не думалось. Матрос-большевик, помню, говорил, в Крыму жили, – «все теперь наши бабы!» От Бога отказались, досыта лопали, ну и... – «у нас, – говорит, – кровь играет... на сладкое положение выходим!» Вот гроза-то на нас нашла, за Катичку как дрожала... расскажу-то. Вот и барин, от сытой жизни.

И в хороших семействах у них бывали, из прахтики. Да в разных... На энтих уж он не тратился, а все партреты свои дарил, на память. Цельная у него пачка была в запас, побольше, а то поменьше, по уважению. Были-то какие? Вот даже какие были, с аршин, самые уж уважительные. Да забыла я, барыня, фамилии, где ж упомянуть. Андра-шкина?... Помнится, была... Кто еще? Нет, про Сударикову не слыхала, а шелковиха одна была, только не Сударикова. Мелкова еще, в ресторане-то застрелилась, в заграницу ее увезли после. Да Господь с ними, барыня... Нет, Старкову что-то не припомню... А Локоткову, может, слыхали... у них меховое дело было? Тоже уважительная была; шубу барину какую сделали, за двести рублей, а ей цена за две тыщи. Тогда барыне соболью буу барин подарил, что-то недорого тоже, а какая буа-то... от мамы Катичке досталась.

Как не знать, и барыня про партреты знала, а умел так разговорить, – для прахтики так надо, пациенки желают, из уважения. Это уж все потом раскрылось... и вспомнить страшно, – в наказание так Господь послал. А то и в испытание... Анна Ивановна говорила, милосердная сестра. Вот святая душа была-а... расскажу-то вам. Сплетни-то доходили, и письма барыне подсылали, со зла которые, пациенки. Растревожится она, закричит:

«Негодник ты негодный, бабник ты, юбошник... не смей до меня касаться!..» – кулачками так затрясет. А он ей, удивится словно:

«Ты что, милая... белены объелась?..» Она ему в лицо шварк – письмо! «А это что?! Негодный ты, порститут!..» Повертит письмо, плечом подернет... «А, стерва... – скажет, – теперь понятно, это же она со зла, шельма, что финтифлюшки ее не принимаю, внимания не обращаю на эту рожу!..» Она и рассахарится, поверит словно: «Да-а... – скажет, – актерщик ты известный!» Всегда и извернется. Зацелует, у коленок поерзает, груш привезет, – и все. Понятно, в себе держала. А как накалит его, он шубу на плечо, дверью хлоп, и на свое взаседание, на всю ночь.

У них ученые заседания были, и еще казенные заседания, чтобы царя сместить. Это мне Глафира Алексевна по секрету говорила: партию они делают. Вот и сместили, добились своего... только вот порадоваться-то не довелось. А уж ждали-ждали... барыня все сулилась:

«Вот, няня, погоди, скоро всему перемен будет, по-новому все будет, Костик тогда над всеми больницами будет... и всем тогда хорошо будет... и тебе богадельню выстроим, для всех старушек, и всем хорошее занятие будет, и жалованье большое будет, трудящим всем. Хлопочем все, так хлопочем... партию делаем, для всего народа чтобы».

Вот и схлопотали, в Америку попала. Да что, про себя и не говорю, а... не поймешь ничего.

Ну, уедет он в заседание, и она в свое заседание, хлопотать. А то, под конец уж это, капли стала веселые в бок впускать. Впускала, барыня, своими глазами видала, как... и испортила себя каплями. Завеселеет, забегает, а там пуще еще расстроится, плакать ко мне придет:

«Ах, няничка... и что я за несчастная... и красивая я, и молода я, а Костик меня обманывает, чую!..»

А они ведь хорошенькие были, красавица из красавиц, все-то на них заглядывались. Ну, может, и не первая красавица, вы-то как говорите... а уж такая была красотка! Это вы правду, барыня, росточку небольшого и на цыганочку маленько похожа... так это с капель у ней личико желтеть стало, а то прямо ягодка была, как куколка какая. Барин дышали над ней прямо, так любили. Он рослый был, рука, чисто тарелка... посадит на ладонь и носит по зале, как птичку какую, – «ах, галочка моя... ах, бабочка моя!..» – всякие приберет слова. Скажу ей – Богу молиться надо, мысли и разойдутся. А и вправду. Где душе-то покой найти, о себе да о себе все, бо-звать чего и думается. Уедет барин, она все ящики у него обшарит, – нет ничего, все концы умел с хоронить. А то прибегла ко мне, – веселая, – «любит меня Костик, одну меня!» Письмо нашла, а на письме барин чего-то прописал, барыню какую-то обругал. А от такой раскрасавицы письмо было!.. Маленько и отошла. А скажешь ей про Бога, она так и закинется:

«Что ты, старая, заладила – Богу-Богу!..»

И Катичка вот, бывало. Это уж ее Анна Ивановна наставила, – молиться она стала, в Крыму уж. Да что, и в Америке жили – попрекала:

«И все-то не по тебе, ворчишь! Старый дух в тебе. Сколько было, все другие стали, все кверху ногами стало... с чего ты одна такая, никак не меняешься, как тумба? Старый дух!..»

А что вот и по-старому говорю, и куча я муравьиная, и платье на мне все то же, и платок ковровый с собой взяла, и тальма на мне с висюльками, – старое ей все поминается. Скажешь ей – а чего мне новой-то быть, не бельишко, не выстираешь, а какой мне Бог вид дал, такой и ношу, не оборотень какой, не скидаюсь... губы мне красить, что ли! Это нечистый образины всякие принимает, норовит все наоборот вывернуть. Ну, это как расстроится. А то – лучше меня и нет.

Про барыню-то я... страшно бывало слушать.

«Бог-Бог... что ж он мне не поможет, твой Бог!» – чумовая будто.

Так вся и исказится. Ну, известно, астеричная. И барин все, как вот вы сказали, – астеричная ты! А то косы распустит, – а волосы у ней чуть не до пят были, – обкрутится ими, шею замотает и кричит незнамо чего: «Ах, разведусь! Ах, задавлюсь... себя и его убью!..» А без него и часу не могла, так мог приворожить. Да вы их, барыня, сами знали, как обойтись умел. Борода одна чего стоит, шелковая, кудрявая, за плечо, бывало, закинуть мог. А как все по-новому стало, они и бороду обстригли... не узнать, болезнь уж ихняя началась. Бывало, в бороду духи льют, а потом вымоют, в полотенце закрутят, она и вьется. И голос приятный, и манеры такие благородные, все-то в зеркало красовались, хохолок взбивали. Барыня ему – «ах, какет какой!» Все барыни от них без ума были, барыня сама сказывала, и ей это словно приятно было. А чистоту любил!.. Принесет прачка трахмальные рубашки, все-то переглядит, перещупает, все им трахмалу мало, – грудь все чтобы гремела, горбом стояла. Прачка, бывало, пла-

чет: назад и назад, перетрахмаливать. Белья полны комоды, да все тонкое самое, голанское... а галстуки эти так и шваркали, чуть помяты. И помочи, и носки, и платки носовые, – все шелковое, цветное... и подштанники, извините, разноцветные, шелковые, и эти подушечки везде, для аромату, сашё. Что говорить, любили покрасоваться.

Вы-то, барыня, сурьезная при семейной жизни, Глафира Алексеевна за пример вас все ставила, а и вас даже приревнует. Да опасалась, ну-ка он с вами завлечется. Миллионерки были, всем соблазнить могли. А бриллиантам завистовала!.. И у ней чего показать было, от ихних графов еще осталось, а не сравнять, как можно... горели-то на вас, чисто вот как жар-птица. То вот как расхваливает вас, до бегов это еще, а то давай честить, уж простите. Да что говорила... разное, как придется. Дело прошлое, уж не обижайтесь на покойницу... а всякими, бывало, словами...: мне уж и говорить стеснительно-с. Ну, уж если угодно, правду скажу, не скрою... И хитрая-то она, и фабрикантша фальшивая, да-а... и месалиная она... И сама не знаю, какая такая мисалиная... а все, бывало, так – мисалиная... И ноги лаптем, и кукла золотая... – уж извините, от слова не станется, а всердцах мало ли что с языка соскочит!.. – и чего она к нам повадилась, и чего Катюньчика игрушками завалила... и деньги дерут с народа, и как посмела запонки Костику подарить такие... А вы куклу Катичке заграничную привезли, с нее ростом, и полон короб приданого куклина, не видано никогда, так все и издивились. А запонки... она их всердцах в этот... в клазет спустила! В клазет, барыня, сама барину повинилась. Только вы в заграницу, – она их и спустила. Барин ее кали-ил:

«Что ты наделала, безумная! боле пяти тыщ запонки, такие бриллианты!..»

Цену они уж знали. Не помните... А я упомянула, денежки-то какие! А, может, и от другой какой, спутала. Так серчал!..

«Это мне память дорогая, я Медынке с Ордынки жизнь спас!..»

За заставу покатыл, куда трубы подают. Да где там найти, со всей Москвы сплывает. Копались тамошние золотари, – барин им посулил, – не нашли. Очень вас, барыня, почитал. И портрет ваш на столике держал. Барыня схватит – и в нос ему:

«На, повесь в угол, молись на свою святую!»

А он ей смехом:

«Постой, лампадку вот дай куплю. Да глупая ты... да одну ведь тебя ценю, как золотой алмаз!»

Она и кинется к нему на шею, и за шимпанским сейчас пошлют. И меня угостят. Да я его не любила, по мне нет лучше ланинской водицы черносмородиновой.

VII

Правду надо сказать, с горя и она себе утешения искала. В церкву-то не ходила, о душе и не думала... ну, соблаз ей душеньку и смутил. И уберечь себя трудно, в их положении, – много народу увивалось. Еда сладкая, никакой заботы, музыки да театры, и обхождение такое, вольное, – телу и беспокойно, на всякую хочу и потянет.

Картинку с нее красильщик один писал, чуть не голую расписал. Волоса распущены, одно плечо вовсе голое, грудь видать, на подушках валяется с папироской, и цветы на ней навалены, и фрукты всякие, и кругом ее все бутылки, – будто арапскую царицу написал, за деньги показывать хотел. А ее вся Москва знала, барин и осерчал. И вправду, будто распутную женщину намазал: и глаза распутные ей навел, и ноги так непристойно, до неприличности. Он картинку-то у того и отнял, себе в кабинет повесил. И ту даже занавесил, а то и поглядит. С того все и началось, пожалуй. Стала она такая вольная, на себя непохожа, словно уж не своя, – испортил ее красильщик. В щелку гляжу, бывало, мазал ее когда... и за руки-то хватал, и за ноги перекидывал, и всю, как есть, перетрогал он ее, от стыда помаленьку и отучил. А она – хихи-хи... – чисто ее щекочут. Вольные платья стала нашивать, – стыд и страм. По портникам, по модисткам... вырядится – страмно на люди показаться, барину и покажется. Он так и ахнет!..

«Гли!.. да ты не ты!..»

Будто приворожит его. А который ее мазал-то, урод косоглазый, на козла похож... возьми да и влюбись в нее. Проходу ей не давал. А у него вредный глаз был, он ее и заколдовал, глазом-то. Смеетесь, барыня... а сущую правду говорю. Сидит и глядит, колдует. Так помаленьку и заколдовал. Она уж как учувствовала, станет его просить, руками укрывается:

«Не развлекайте меня, не выношу вашего глазу!..» – и хохочет.

А он пуще уставится. А барин на прахтику уехал, в Богородск. Вот тот приезжает, глаз на нее уставил, и говорит, чисто ее хозяин:

«Вы беспрерывно поедете со мной кататься, картинки мои глядеть!»

Вмиг собралась – покатила. Вернулась на рассвете, и вином от нее, слышу... – сама не своя, у ж он ее испортил. Два дни из спальни не выходила. А тот телефоном донимает! Она трубку об стол и расколола. Тут его колдовство и кончилось. Долго она болела, после того-то. Ну, что тут, барыня, антиресного?.. Ну, и еще было. Как сорвалась с закону, греху как приложилась, – и не удержишься, Бога-то когда нет. Был еще один, словно студентов учил... ни разу его я не видала. Скажешь ей стороной, а она сердится – не смей грязного думать, тут только приятельская дружба. А я к тому, что нехорошо перед барином, стыдно в глаза смотреть... – за письмами, бывало, меня гоняла, в секрет, на почту. А у меня глаз-то свой, не дареный... белье шикарное стала покупать, тонкое-то-растонкое, прачке отдавать страшно, я уж сама стирала. Ну, все и видно... что я, слепая, что ли! Исхитрялась передо мной, а совесть-то не заткнешь, – из глаз глядится.

Да чего, барыня, приятного тут?.. Ну, музыкант был, учитель Катичкин. Ничего человек, смирный, играет, да вздыхает, только и всего. Вот-вот, самый он, волоса длинные, на грека похож, и с бантом с белым, а только тихой. Греки – они шу-мные, я их знаю, в Костинтинополе как мы бились. Вот там греки шумели!.. Всех с тортуваров сшибают, никакой управы на них, турков они прогнали, а англичаны город им не дают, забрали себе под флаг. Им досадно, все и кричали: «сильней нас нет, всех покорим, со всех денежки требуем!» Офицер наш один все их дражил, бывало: «и у петуха шпора, да не звенит!»

Ну, вместе сидели и играли на роялях. Поглядят друг на дружку – и опять заиграют. Может, и не было ничего промеж них, очень уж тихой был, музыкант-то. А глаза пялил, правда. В зеркало раз видала, как она его в маковку поцеловала... а он глаза так, через лоб, и воз-

дохнул. Ну, в налехции с ним ходила... Барин раз и перехвати письмецо! Подает ей, уж распечатано.

«Как ты смеешь письма мои печатать? – она ему. – Тут ошибка, ничего я не понимаю...»

«А я, – говорит, – понимаю. Был у музыканта, и была у нас музыка!»

Божиться стала, а то и не перекрестится никогда, хоть тебе крестный ход. И разочли мы музыканта. Я ему и жалованье в письме носила, щека у него была завязана, полтинник на чай мне дал.

Ну, сами, барыня, посудите: как же им дите воспитать, при таком-то хавосе. И давно бы от них сошла, да к Катюньчику привязалась, оставить жалко.

VIII

И чего только они над ней не вытворяли!.. А знаете, я чего думала, барыня?. А вот чего я думала. Наше семейство взять... Ну, барин хороший человек, такой благородный, чужой копеечки не тронет, хоть ты ему тыщи-растыщи положи... очень по закону понимал. А барыня... и добрая, и образованная, сочувственная очень. И все барина уважали, и доктор он ученый, самый умный, и прахтикой много помогал... и такой тоже сочувственный!.. Лошадь под окнами у нас упала, а ломовик уж известно – в брюхо ее ногой, ногой. Обедали они, как увидели... выбегли на мостовую прямо, кричать, – в участок хулюгана-негодяя, в протокол писать!.. – животные были попечители... были ведь у нас такие? Вот-вот, из животного попечительства. А то в ведомостях чего прочитают... голод вот когда по деревням был, или кого строго засудили, за царя... а то и казнили, кто в высоких лиц бонбы швырял. Вон барыня расстроится!.. Салфетку бросит в суп, кулачками себя в грудь... кричит: «звери-звери!.. нельзя терпеть, нельзя жить, нельзя руки сложить! народ морют, убивают... а мы можем спокойно есть!.. не могу, не могу!..» Барин ей капель, все успокаивал: «не волнуйся, мы это все скоро переменим... все кончится!» Заплачешь – на них глядеть. Вот, думаешь, как по-Божьи надо, и в церкву они не ходят, а им Господь за доброту все простит. К бедным-то? Правду сказать, к бедным не ездил барин, а так сочувствовал... вредно в грязи рожать, зараза будет, все говорил... пусть в приюты идут рожать, в ламбалатории, и чистота там, и денег не берут. А прачка наша, у ней ребеночек поперек шел... сразу ей барин выправил, ни копеечки не взял, – только трахмал потуже. И сколько от смерти спас, и женщин, и младенчиков... мертвеньких уж совсем вынал и в себя приводил!.. Вот как.

А иной раздумаешься – сколько же он ангельских душек помори-ил!.. Да я-то уж знаю, барыня... И за это деньги какие брал! и на что же денежки эти шли-и... в прорву, на баловство, в свой мамон.

Барыня все мне говорила, как и вы вот... – такая мадицина эта, требуется. А я-то знаю... грех покрыть помогал, ангельские душки убивал, пу-зырь колол! Когда мадицина эта, разродиться женщина не может, это я знаю. Ну, грех страшный, а всякий грех замаливается, только не греши. Ну, на церкву бы подали, для души, или бы сиротам помогли... Скажешь барыне: нищие к нам заходят, надо бы на кухне подавать, как у мамашеньки водилось. А она – «лодырей разводить! на попечительство даем, там уж знают». Да не все попечительство-то знают. И канючки есть, и дармоеды, а сколько и живой нужды есть. А господа нужды живой не любили, расстраивались от нужды. Страницу приняла я раз, чайком попоила, а у ней палец гнилой, с морозу, всю она кухню пальцем нам протушила, правда, – как же они заопасались. А у нас в помойку котлеты выбрасывали, а про хлеб и говорить нечего. Это в Крыму мы с Катичкой узнали, как хлебушек добывается, и в Костинтинополе повидали, как в море с детьми топились, себя продавали за кусок... – вспомнить страшно.

Ах, барыня... у нашего батюшки девочка в ихней больнице померла, англичаны поместили, от сострадания. А мать и не допустили попрощаться... от заразы, будто... – и похоронили не сказавши. Пришла, а они уж похоронили, и не отпевали! От сострадания, говорят. Так матушка и упала на ступеньке. Может, и барин тоже, от сострадания... а думается мне – грех и грех.

А добрые люди, как трудящий народ жалели, очень помочь желали... у всех чтобы свои капиталы были, всем чтобы поровну. А вот жили на такие деньги. Да я знаю, барыня, не все такие деньги были, а... хоть половинка была такая, за младенчиков! Из Нижнего от мушника барышню привезли к акушерке ихней, грех покрывать: сколько хотите возьмите, остановите только последствия. Десять тыщ выклали! За грех-то и деньги платят. Остановил барин, проколол пузырь. Едят сладкий пирог, за пять рублей, бывало, покупали... и мне дадут. И при-

дет в думушку: а ведь это за пузырь мне, за ангельскую душку, сладкий кусок... за грех! Да я не осуждаю, барыня... а сумление во мне было. А вот слово я какое получила, от святого человека... а вот.

Это как нам барина в Крым везти, чисто вот сердце чуяло. Поехала я за Троицу, в пустынь, к старцу Алексею. Мне Авдотья Васильевна присоветовала, желанная такая. Ну, поговела я там... а уж царя сместили, все будто понарошку пошло, ползти стало. Мне старец и сказал... я ему покаялась, у таких, мол, господ живу, сладкие куски принимаю... так он и засветился, и глазки ручкой так заслонил... открылся – плачет. И пошептал мне:

«Родная ты моя, не смущайся, все принимай... и чужой грех на себя прими, а не осуди. Без нас с тобой судит Судия... и все мы грехом запутаны, а вот Судия и рассудит».

Всю тягость с меня и снял. И барин вот, как ему помирать... И правда, а то собьюсь.

Катичку укладываю, бывало, и станет страшно, как про их грех подумаю. Отплатится ведь за это! без того не пройдет, на ком-нибудь да взыщется. Да неуж, думаю, Катичке и отплатится?... И что же, барыня... отплатилось, так-то им отплатилось..! И Катичка, разве счастье ей? Да я, барыня, все знаю... вы не знаете, а я-то знаю. Ну, все-то мы, за что мыто теперь мызгаемся так? Самые, может, хорошие и страдают больше, за чужие грехи принимают, а уж Господь рассудит, все у Него усчитано. Вот теперь и нужду узнали, и в чужую беду стали проникаться, и как хлебушек добывается, слезами поливается... и в церкву стали ходить... – все у Него усчитано.

Ночью проснешься, как все-то вспомнишь... – да как же я сюды попала, в пустое место! да чего ж мы все толчемся тут ни при чем, как цыганы бродяжные... оттуда гонят, туда не допускают... В Костантинополе жили мы.

Вот напугались как, слух прошел, – хотят власти нас большевикам отдать! Чуть-чуть не отдали, кто-то уж за нас вступился. Да как же так? – говорили все, – да где ж у них Бог-то?! А как же барыня говорила нам – самые они образованные!.. Уж вот уж повидала-то... Катичка тогда из себя вышла, калила их, калила... такой скандал, расскажу вам по череду. Так вот, говорю-то я... – проснешься, Господи, старая я, кому нужна, сызмала сирота, с девчонок по чужим людям... покарай ты меня, взыщи на мне, а Катюньчика не оставь милостью! На всем свете одна она у меня теперь, будто дите родное. И покойный барин меня просил, помирал... не забуду и не забуду.

IX

Да, про Катичку я вам... И чего только они над ней не вытворяли! Барин никогда пальцем тронуть не позволял. Бывало, постражаю, нашлапаю за прокуду за какую, надо ж острастку ребенку дать. Ну, моду взяла какую... без горшочка ходить, а уж пять ей годочков было. По всей комнате крендельков наставит, а я подбирай. Я ее полотенчиком по заднюшке. Заголосила – и к папеньке. Он меня, – а он высоченный, как жандар, был, – за руку меня, загорячился:

«Ежели ты, такая-сякая, посмеешь еще Катюньчика пальцем тронуть, – духу твоего тут не будет!»

Через полчаса обошелся, в руку мне три рубли:

«Прости, Дарюшка, за горячку... пропадет Катичка без тебя».

Стала я ее молитвам учить. Они ее до ученья ни одной молитве не обучили.

«Не смей Катюньчика глупостям учить, – барыня мне, – в молитвах твоих она все равно ничего не поймет».

«Да не мои, – говорю, – молитвы, а Господни... она не поймет, *он* зато понимает и не подступится».

«Глупости! Мы хотим сделать из нее своевольного человека... она сама должна всего добиваться, а не на твоего Бога полагаться!»

Да чего же мне наговаривать на них, барыня, когда правда!

«Да какой же это мой Бог... опомнитесь, барыня! – говорю, – один у нас у всех Бог... Иисус Христос!»

«Ну, я тебе сказала. Если еще услышу глупости, можешь искать себе место в другом месте!»

Стала ей внушать, как же вы ребенка без Бога на ноги поставите, крещеная ведь она... надо ее по-Божьи учить, или никак не надо учить, а как собаку какую? И у собаки хозяин, а у ней... слушать-то ей ко-го? А горе будет, где у ней утешение?... Повернулась и пошла. Да они и не окрестили бы ее, кабы не тетка... для тетки и окрестили, да и по закону надо, а то как же без имя-то? Ну, обучила ее «Богородицу» говорить, и «Отчу», и «Ангелу-Хранителю»... и просвирку за нее выну, и в церкву с ней зайдем к вечерне, гулять пойдем. А она охотница до церкви была, так руку, бывало, и оттянет:

«В телькву, няниська, в те-лькву!...»

Не на радуешься прямо на нее. И ангелочки ей там золотенькие ндравились, хирувинчики с крылышками, – Божьими гуленьками все их звала. Скажет, бывало, забавная такая:

«А к Боженьке я когда уйду, тоже хирувинчик буду? А ты, няниська, не будешь хирувинчик? ты большая, тяжелая, не можешь полететь на крылышках, упадешь?»

Уж такая была смышленная да вострая... Я ей и накажу строго:

«Мамочке не сказывай-смотри, что мы к Боженьке заходили, а то прогонит она меня со двора».

Погрозится так пальчиком, губенки вытянет:

«Не скажу-у... мамотька Боженьку не любит, а мы любим».

Истинный Бог. Значит, у ней уж душенька говорила. Так бы и вести ребенка, страх Божий бы она знала, греха боялась. А дома ей другое в голову набивают. Барыня начнет ей набивать – слушать страшно... про человека да про человека, все что ни есть, он может. И кости человечьи в книжках показывала, и собачьи кости показывала, – одинаки, говорит. Барин и то серчал – рано ей, у ней мозги высохнут. Год от году стала она своевольная, сладу нет. Крестик на ней был, гляжу – нет! Мамочка сняла, грудку ей оцарапал. Купила я ей, хороший такой, серебряный. Опять мамочка сняла, а мне распек. В лицо мне стала плевать! Скажу ей строго – «в Господень лик плюешь, Боженька накажет!» А она, насмех чисто, в глаз попасть норовит.

Да еще спориться принялась, чужие слова лопочет: «глупая ты, мамочка говолит, делевня ты!» Как ее воспитать? Стала ее страшать, а к ночи было:

«Вот Ангел-Хранитель отойдет от тебя, нечистый и унесет, с рогами!»

Она – кричать-биться, полог на кровати изорвала.

Барыня на меня – «ты мне ее уродом сделаешь!» Заснет – я ее водицей святой и покроплю. А то какую манеру еще взяла: покрещу ее, зрячую, – она смеется:

«А вот и скажу завтра мамочке... крестила ты меня!»

Стало уж мне с ней страшно, – *он* у ж будто из ее ротика кричит. Стала она меня по щекам хлестать. Раз спустила, другой спустила, – она меня прыгалкой по глазу, залился глаз. Я ее по щекам и отхлестала, для острастки. Она к мамочке, с ревом, а та, дела не разобравши, да при ней на меня, с ключами!.. Так вся и исказилась:

«Ты, хамка... посмела лица коснуться!..»

«Погодите, – говорю, – скоро она и вас примется колотить».

Уж на что миса, англичанка, и та все глазами ужасалась, что Бога не хотят. А она в свою церкву ходила... и они тоже в Бога веруют... – и у ней над кроватью крест костяной висел, в веночке. Я им и на мису указывала, – глупей она вас, что ли? Тоже образованная, да еще англичанка.

И решила я отойти от них. Укладочку собрала, извозчика привела, а ни пачпорта, ни зажитого не отдают. А за ними сот за семь было. Не отдают и не отдают: «Катичка тебя отпустить не хочет». А та топочет, прыгает на меня, фартук на мне порвала, по полу кататься стала, ножками бить, – в мамашу. Барыня, бывало, с барином как повздорят, сейчас разуются – и в сени босиком, да зи-мой! Барин схватит ее в охалку и принесет, а она по полу начнет кататься. Из графина окатит – сразу и приведет в себя.

Ну, осталась я. И рада, привыкла к ним, – и обидно-то, будто и за человека не считают. Легла спать, а сердце не унимается. Плачу в подушку... – хорошая у меня подушка была, пуховая, на корабле пропала, из Крыма как мы поехали. Плачу и плачу, себя жалею. Барыня и входит, давай причитывать:

«Клянeshь нас, жалованье не отдаем... лучшего места ищeshь, на нас и выискиваeshь! Ну, так бы и сказала, жалованья тебе мало...»

«Бога-то побойтесь, – говорю, – сердца я не уйму, а вы с грязью меня мешаете. Ну, семь моих сот за вами, не пропадут, знаю... а зачем над человеком мытарствуете! Всех жалеете, говорите... Не могу я глядеть на хавос ваш, родное дите губите...»

За голову она схватилась:

«Стыдно мне перед тобой, няничка... стыдно!..»

Упала ко мне на шею, трясется вся. Душа у ней добрая была, с семи годков ее знала. Ночь на дворе, метель, в трубе воет, и барина нет дома. И образов-то нету, а она бьется, чисто темная сила ее ломает, – страшно мне с ней тут стало. Покрестила ее украдкой – она и стихла.

«Виноваты мы перед тобой, няничка. Ты хорошая, а мы перед тобой... дрянь мы! И нет мне покою, и все-то ложь, и Костик меня обманывает...»

«Бога у вас нет, – говорю, – и покою нету. Худо у нас в доме, ху-до...» – все ей и выложила.

Так она и встрепенулась!..

«Чего ты каркаeshь, чего худо?... что ты думаeshь, умрет кто у нас?...»

В Бога не верили, а такие-то опасливые, – судьбы боялись. За зерькала дрожали, как бы не треснуло. А я и посмеюсь: в Бога не верите, а зерькалу верите? Да ведь это Господь зерькалом во-лю свою указывает, зараньше. А барин страсть покойников не любил. Как завидит на улице – назад, Федору кричит, в объезд. А по-нашему, покойника встретить – всегда к добру. Ну, другое дело – свадьба... Все-то у них навыворот.

Да... так и встрепенулась:

«Скажи, что тебе чудится, какое худо? или сон видала?...»

«Образов у вас, – говорю, – нет в доме, у вас все может быть».

«Что – все? что ты меня пугаешь? про Катюньчика чего чувствуешь... что – худо?»

А я чего могу знать, не святая, в сам-деле. А чудится – будет и будет худо. Катичка и заболел скарлатиной. Чего-чего уж она не вытворяла!..

«Ты накаркала... ты все!..»

«Опомнитесь, барыня, – говорю. – Господь видит, как же я могу скарлатину сделать? Пригласите лучше Целителя-Пантелемона».

А Катичке хуже да хуже, хрипеть уж стала. Доктора ездили бессменно, а ей все хуже. Говорят – была скарлатина, а теперь и вовсе дифтерит стал, будьте готовы ко всему. Тут она и погнала меня к Пантелемону, привези. Монах и говорит, – дойдет вам черед дня через три, а покуда помажьте болящую маслицем с мощей. Сказала барыне, а она кулачками затрясла: «вот, когда хочешь – тут и нет!» А я помолилась и помазала Катичку теплым маслицем, в украдку, и в глоточку капельку ей влила, – она и уснула, хорошо так. Поутру глядим – она уж и повеселела. А доктора и говорят, – теперь уж выздоровеет. Что ж вы думаете... не поверила, что с маслица это! Это, мол, от нового лекарства, профессор дал. Так Целителю-Пантелемону и отказали.

Так вот и росла Катичка. А умненькая была, такая-то дотошная, все мои песенки умела, гостям пела. А я их много знала. В деревне как сиротой осталась, меня в богатый двор взяли, дитю качать. А у них баушка была, такая-то мастерица сказки сказывать, всего-то-всего умела... с волости за ней приезжали даже. От нее и я наслушалась-набралась. Катичке я даже и певала, уж большая она стала, на театры когда училась. Может, за то и любит. То я ей глупая, дурей нет, а то... – «умней тебя, нянь, нет!» – это уж как разнежится. Василисой Премудрой назовет... Такая умненькая была, – юла-огонь. И в имназии хорошо училась, лист ей с орлами дали. Пятнадцати годков кончила, – хочу и хочу в театры, в наактрисы! Тут и пошла наша маета. Война пришла, а у нас в доме своя война. Вы тогда в загранице были, долго вас оттоле не выпускали, приехали уж когда царя сместили... Мы тогда барина в Крым повезли, а барыню ране того свезли. А вот, я вам по порядку уж...

X

Стала Катичка на театры учиться, и пошел у нас дым коромыслом. И барыня в это дело пустилась. Пошли разные к нам ходить, ватагами, наговаривают и наговаривают, бо-знять чего. А то еще в стихи читали, да в голос, чисто по упокойнику. И всех корми. А прожо-ры-ы!.. Один все себя в грудь бил, кричал все – «хочу помереть! дайте мне яду сладкого!» – а барин... надоели они ему, – насмех ему: «а хотите помереть, ступайте на войну лучше!» Ну, чистая волконалия. Барин все так, бывало:

«Волконалия у нас стала!..» – шум его беспокоить стал.

Да жадные все, голодные... – со стола так и не убрали, чисто трактир у нас. С утра до ночи так и короводились, все наговаривали, чего на театрах вот представляют. А Катичка первая верховодка, такая-то блажная стала, умного слова не скажи. И еще с простынями танцевали, на цыпочках ходили, руками поводили, мода такая завелась... почесть что голые! И барыня туда же, с простынями. Ну, страм и страм. Да какие все самовольные, по комнатам шнырят, чисто родня приехала. Так за ними все и ходили, куда пойдут. Полдюжины столовых ложек серебряных у нас пропало, так и не доискались. Да колечко еще у Катички с умывальника смылось – всякого народу было. С гитарой один ходил, чистый ломовик, все выпимши, глупые песни пел, да про альхерея... все припевал – «горчишник я ширлатан!» – а те гогочут. В ванной я его и захватила, голову мочил... колечко-то и примочил. А как скажешь, – друзья-приятели! Ни время, ни порядку, – постоянный и постоянный двор. И кого-кого только не было... И цыганы ходили, и эти вот... пестрые кофты, разные рукава, самые-то оторвы. С ножом один ходил, в башлыке, зубами на меня щелкал, – баушка ему стала! Ну, мамай и мамай пошел. Да что... подушки со всего дома на ковры навалят, шальями пестрыми накроют и ломаются. Разуются все, и молодчики, и девчонки... на головах дутые винограды с елки, и розаны, на образа-то вот продают... все в простынях, плечи голые, ноги голые, страмота... и вино из кувшинов пьют, и все-то наговаривают, и все-то кричат – «мы боги! мы боги!..» – сушая правда, барыня. Уж на головах пошли. Уж это всегда перед бедой так, чуметь начинают... – большевики вот и объявились. Да я понимаю, барыня... не с пляски они, большевики... а – к тому и шло, душа-то уж разболталась, ни туда ни сюда... а так, по ветру. Уж к тому и шло. А дурак тот, с гитарой, так обнагле-эл... – закрыл Катичку простыней и обнял, совсем охальник. Барин как увидел, – за руку его в прихожую вывел да в ше-ю... и гитара его по лестнице зазвонила. Скажу барыне – кабак у нас, чему Катичка учится? А она все свое:

«Не лезь не в свое дело, глупая... не понимаешь ты, это иску-ста!..»

И только у всех и разговору – искуста-искусна, искусна-искуста... – а толку никакого, одни только неприятности.

А жизнь пошла беспокойная, военная. Барина тоже на войну забрали... ну, из уважения оставили, лазареты наблюдать. Барыня словно хлопотала, – из уважения ей и сделали, каждого могла заговорить.

И мундир ему выдали, и саблю. Он сейчас пациенток порастрес, – хороший у нас на дворе лазарет открыли, на сорок человек. И барыне занятие, раненых солдатиков навещать. Правду сказать – старались. Как первую партию привезли... а у нас актершики были, и читатели, в стихи читали... высыпали глядеть. А солдатики грязные, повязки в крови, запекши... молодчики наши папиросок им, бутенброды, нахваливают... за нашу Россию стараетесь... очень соболезнавали. Еще один, помню, все добивался – «а страшно умирать, а?...» А солдатик, вежливый такой, – «страшно – нестрашно, – говорит, – а требуется!» – полон рот калачом набил, не проворотить. Барин, первое время, и дома не бывал, перекусит – и до ночи его не видим, на прием только приезжал, забота была большая. И денег нам тут посыпалось. Докторов на войну забрали, – ну, барина прямо на разрыв. Другую горничную еще взяли, для гостей, да

девчонку еще наняли, у телефона записывать. Никогда столько пациенков не было. Да Катичкина еще орава, – ну, непротолченная труба всякого народу стала. И откуда только бралось! Столько на войну забирают, а у нас все молодчики, не убывают, а прибывают. И наговаривают, и начитывают, и скачут, и пляшут, и друг с дружкой в обнимку жмутся и крутятся, страмота, – чисто все посбесились. Театральщики, уж известно, какой народ... все будто понарошку им, представляют и представляют. Правда, для раненых старались-утешали, по лазаретам ездили представлять, а у нас все и наговаривали. Катичка помостки велела в зале поставить, и рояль туда подняли, и картинки там красили, представлять. Скажешь барыне:

«Никаких денег у нас не хватит ораву такую кормить, – колбасы по пять фунтов на закуску, сыру, телятины что... белых хлебов десятка по три, сахару не напасешься, – тыщи на месяц мало. Да диви бы на пользу шло!..»

А она, высуня язык, только отмахивается:

«Война, всем надо помогать... надоела, не твое дело!»

Не мое-то не мое, а... Ну, мне уж под две тыщи задолжали, про себя не говорю, а лавошнику Головкову сколько должны, а он деликатный, только пошутит мне:

«Попомните доктору, Дарья Степановна... мы тоже и сахарок, и колбаску, и все прочее-иное и другое покупаем-с, а не от Ильи-пророка по знакомству получаем-с!»

Дадут ему сотню-другую – опять давай. Давал. Прознал, что барин на войну может посылать, а у него сына забрали, в вошпитале лежал, будто у него глаз не глядит, – ну, и старался барину услужить. А барин строгой был, никому поблажки от него не было, по закону очень. Ну, и забрал сына. Да еще серчал на Головкова, что за царя приверженный. И вот какой богомольный, Головков-то... хироносец был! А такой, хирурги за крестным ходом всегда носил, почтенный очень, собственный дом. Он за царя стоял, а барин и слышать не хотел – долой и долой. Они с барыней секрет знали – только царя долой, все новое пойдет, хорошее, им известно. Ну, не внял, послал на войну сына. А Головков в полицию донес: у доктора какие молодцы пляшут, а на войну их не посылают. Это с досады он. Дознавали, как же: по закону гуляют, от войны, – все калеки, по белому билету. Он тогда на нас к мировому подал, за долги. Это когда и судов уж сурьезных не было, а барин заболели... нам в Крым бумага приходила, приносил с красной лентой какой-то, не гордовой, а другой... говорил барину – теперь можете не платить, когда еще вас разыщут, а теперь все похерено. А сколько-то много Головков на нас насчитал. Так нас и не достали, а платить уж нам нечем стало, сами жили из милости у доктора одного. А у Головкова супруга Авдотья Васильевна, желанная такая... вот где это Дунай-река-то... Ну, как угодно, не буду отбиваться. А уж такое дело вышло, уж так я горевала... Ну, как угодно, а то и вправду, запутаюсь.

XI

Да вот, представлять они стали... Катичка тут всех и покорила, так за ней и ходили табунами. Помните ее, барыня, – не такая она уж и красавица чтобы писаная, да еще и в себя не вошла, как следует... что ей – шестнадцатый только годок шел... и росточку была еще не полного, а телом еще не обошлась, цветочек еще, бутончик. Теперь бы и не узнали ее, какая авантажная стала, самостоятельная, и манеры теперь у ней, даром что тонкая-растонкая, а... на всех производит! В Америке она голодом себя морила и на палках крутилась, чтобы потощать... так уж там полагается, а то и денег платить не станут. А и тогда складненькая была, акуратенькая такая, куколка и куколка. А глазки у ней и мамашины, и папашины, черные, огромные, живые такие... Барин все ее так – «ах, черные миндали, зажигают издали!» – пел все. Барин у ней взгляд был, смелый. У цариц вот такие глаза бывают, гордые. А волосы темные, густые, папенькины, – «каштанчики мои», – все, бывало, так звал. А личиком беленькая-разбеленькая, сквозная вся.

Уж барин ее нахваливал! души не чаял, – «фарфорочка моя, варкизочка ты моя!» – все так. А может, и маркизочка... забыла уж. И что такое?... ну, каждого мужчину приворожит! Все-то в нее влюблялись. И чем только завлекала, я уж и не знаю. Еще совсем девочкой была, а знала, что глазки у ней красивые. И тогда уж глазками поводила-красовалась. А папенька ей все-то набивал: «ох, глаза... будешь ты погубительница сердешная!» Ну, она и приучилась заводить. Так вот головкой чуть повернет, глазками поведет... – откуда набралась! А то пройдет, так вся и изгибается, очень гарциозная. Прибежит ко мне, вытарашится:

«Правда, нянюк, особые у меня глаза, а?»

Посмеюсь-скажу:

«У кого какие, а у тебя такие».

А захвалили. Все-то ей про глаза ее, что вот какие... Да не умею сказать-то, как говорили... нет, не выразительные, а истомные, что ли?... По-нашему сказать – с поволокою глаза, будто вот через что глядят, чисто вот обмирает, как тень на них. Один к нам ходил, актерщик... вот не любила беса!.. – тогда еще все внушал – «у вас глаза женщины!» Развалится на креслах, ножичком ногти точит, и все так, непристойно, – «же-нщина вы, малютка!..» А наши, умные, слушают. Поведет так, закатит, – будто она спросонков. И выучилась перед зеркалом вертеться. Особо плохого тут нет, покрасоваться-то... а к тому говорю, что уж очень собой-то занималась. И мамашенька ей пример давала. На что уж со мной, и то – уставится на меня, как на пустое место, словно вот через тень глядится.

«Ну, чего пялишься-то как нескладно, – скажу, – чисто ты пьяная!»

И все-то в головку набивали: «мы тебя за заморского прынца выдадим!» И нагадали: повидали мы их, заморских. И стали в нее, барыня, влюбляться. Конфетами завалили, вот какие коробки!.. и шелковые, и плюшевые, и цветы шлют, и корзинами, и так, некуда ставить, сад у нас прямо стал. Богачи стали наезжать, на своих лошадях, на автомобилях, на высоких колесах – беговой богач был... приличный народ, солидный. И шушеры много было, а и дилектора бывали, и генералы... – мед-то как завелся, так вокруг и закружились. И смех, и грех. Повадились старичок к нам, военный доктор, начальник баринов, только он генерал. Стал все цветы возить. Лет, пожалуй, за шестьдесят было, сухенький только был и шустрый, и бородку брил, а под глазами-то наплыло, не закрасишь... видно, что битая посуда. И рот у него кривой был, раздерганный. А живой, ножкой об ножку терся. И холостой. Та его и закружила, насмех. И печенье ему выберет, скажет – «вот, любимое мое!» А он ей тоже – «теперь и мое любимое!», и цветочек в петельку ему, и духами попрыскает, илиотропом, любимыми... Он возьми и посватайся, одурел! Так все и обомлели, – начальник баринов. А она и глазом не моргнула: «дайте подумаю... я ведь совсем ребенок!» Так он и засиял! И сгубила старого человека: посы-

лал-посылал цветы, да и простудился, помер, – у училища все дежурил, где театрам-то обучали. И еще князь ее провожал, тоже немолодой, а со шпорами ходил, высокий попечитель был... из училища ее привозил и письма ей все писал, по-французски. И она ему писала, для прахтики. Писем у ней было... полна шкатулка. А духов было... как в магазине, обливаться можно. Как в ванную лезть, цельную бутылку вольт, кожу щипет... голова кружится, не войдешь. Барин, бывало, – «дай-к а, Катюнь, даров душистых, а то все вышли!» Меня душила... Приду к себе спать ложиться, – не продохнешь, все подушки позалиты. В церкву прийдешь, дух такой от меня, людей стыдно, – платье мне обливала.

Ну, все влюблялись. А молодые – так, высуня язык, и ходили, как опоенные. Чего ж один изгораздился для нее... Велела она ему из зоологического сада живую лисицу ей принести. Он за сурьез принял да и попадись: ночью клетку лисицыну продрал и потащил лисицу, – она ему все лицо ободрала. На месяц в «Титы» попал, а про Катичку не сказал. Она ему цветов послала для утешения. Так уж все баловали – она и иссвоевольничалась, все-то ей нипочем, воображать стала из себя. А барыня не нарадуется. Меня уж и в грош не ставила, только и слышишь: «заткнись, старая улитка!» – истинный Бог. Спать ложиться, – ну, вертеться перед трюмой да охорашиваться, даже и рубашонку снимет. Оправляю постельку ей... – шелковая, царская постелька у ней была, белая вся, ангельская постелька, – смотрю-смотрю на нее, ну так неприятно станет. Она уж и так, и так, и головкой, и плечиками, и... Да еще меня допытывает:

«А что, нянь...» – это когда в духе, ласково всегда – нянь, звала, а то все – ня-нька! а то еще выдумала – ня-нища! – «А что, нянь... красавица я, а? лучше меня нет?»

Насмех и скажу – попова дочь лучше. Шуткишутки, а так погибель и начинается. Оглаживать себя примется, по бочкам, и так и сяк извертываться, – издивисься, откудава набралась повадкам! Плюну-скажу:

«Страмница ты, бесстыдница... ну, пристало ли девушке так себя красовать! на рынок, что ли, себя готовишь? Девушка скромностью красуется, а ты как солдат расхлестанный».

И ласкова бывала со мной, так и обовьется, и в глаза зацелует, и на лицо мне дует... ну, такая умильная. Она меня и теперь любит, все мои мысли знает. Только, понятно, стесняла я ее. Она мне тут шляпку носить велела, а мне стыд, будто я пугала какая, голова непривычная, не я и не я... И вот тальма со стеклярусом у меня, Авдотья Васильевна подарила, износу нет, – так ей она не ндравилась: страмлю я ее, допотопная я, старинный дух. Нет, любит она меня, горой за меня. С итальянцем схватилась раз, расскажу-то...

Прибежит в темненькую ко мне, как мне спать ложиться, за шею обнимет и ну целовать. Заерзает-заерзает у меня, прижмется комочком... – «Скажи, нянь... буду я счастлива, буду я любима, буду я богата?..»

И глазки заведет в потолок, будто чего там видит. Я и скажу:

«Ах, Катюньчик... и любима будешь, и богата... а вот счастлива ли будешь – это уж как Бог даст».

Затискается-заерзает, словно ей невтерпеж:

«Ах!..» – вздохнет. А я и пошучу-поразвлеку:

«Не вздыхай глубоко, не отдадим далеко, а хоть за курицу, да на свою улицу!»

Она так вся и воссияет!

«Да как ты хорошо-складно! Да скажи еще... да какая ты му-драя... Василиса ты Премудрая!..» – И затуманится вся, зажмурится... – «Ах, хочу быть счастливой, хочу-хочу, нянюк... большого счастья хочу!..»

А выпало-то вон что. Счастье... да какое же это счастье, барыня... что крутимся-то так, партреты ее печатают? Душеньку ведь ее я знаю, спокою у ней нет... и себя, и других измучила. А уж про себя-то сказать... – не глядела бы ни на что. К чужому-то свое не прирастает. На солнышко гляжу, – и солнышко-то не наше словно, и погода не наша, и... Ворона намедни,

гляжу, на суку сидит, каркает... – совсем, будто, наша ворона, тульская!.. Поглядела, – не та ворона, не наша... у нас в платочке.

Ну, хорошо. И будоражная тогда у нас жизнь пошла, хавос и хавос. Война такая, некрутов гонят, раненых везут и везут, конца не видно, и по улицам на костылях все, да партиями, у всех горе кругом такое... того забрали, того покалечило, того убили... у Авдотьи Васильевны братца убили, и крестника моего ранило, рука повисла, – рыбкой который торговал... А у нас чисто балаган-пир: и гости, без исходу, и музыка у нас каждый вечер, и представлять подучаются, и... – так с утра до ночи и кружили. Из нашего лазарета солдатиков поглядеть пускали, а то и угостим. Меня-то они шибко уважали, доверялись... Ну и скажут, бывало:

«Кому горе, кому смех. Господа все войну затеяли, для удовольствия... ишь, какие все жеребцы-то у вас жируют, а воевать не идут».

Это как к концу стало, а то все были деликатные. Мы им и винца для здоровья подносили, барин нам доставал... – и пироги им пекли на праздники, – так-то довольны были!..

И отыскала барыня в лазарете где-то полковника... такого-то орла-красавца, в крестах весь, – ходила она за ними. У ней и косыночка была – милосердая сестрица. Стал он к нам бывать, по виску черная обвязочка. Так об нем барыня пеклась, такое ему уважение у нас было... – он и влюбись в Катичку. А у него трясение мозгов было, с пушек, – он и помешался от любви. Придет и сидит. И Катичка, примечала я, задумываться стала. Уж все разъедутся, а он сидит и сидит, в усы себе глядит. Да Катичке вдруг и скажет, чисто вот на образ молится:

«Голубой вы ангел! Вы сошли с неба!..» – и руки к ней, вот так вот.

А она губки кусает, так жалко ей. Мука была смотреть. А то раз и заплакала, убежала. А он и перекрестился вслед ей! Насварение мозгов уж у него стало. Ну, намекать мы ему – лучше бы не ходить. И барыня все расстроена, и Катичка какая-то такая, ждет все, когда придет... а сидеть мука с ним, с полоумным, и жалко-то его... Он и не стал ходить, понял словно. Три дни не был, нам из вошпиталья звонят: где полковник, почему не является. Поехала барыня, а там и говорят: поглядите вон, обмерзлого сейчас нашли за заставой, в снегу сидел. Ногу ему и отпилили. Так мы его жалели, плакала даже Катичка. Да, забыла я... сказал-то чего он раз: «Голубой ангел! Зачем вы сошли к нам с неба?.. Кро-ви сколько!..» – и за голову схватился.

Не раз Катичка про это поминала, как всего уж мы повидали, намучились и сколько всяких смертей видали, горя человеческого... Вот вам, и помешался, а правду чувствовал, прознавал.

И вот тут у нас и случилось...

XII

Был у нас вечер, для солдатиков из нашего лазарета представляли. И чего ж Катичка со своими короводчиками надумала. Иван-Крестителя в колодце представляли! Его будто в темницу Ирод-царь посадил, в колодец, а Катичка царицу-поганку представляла, как она царя завлекала, чуть что не голая плясала, все у Ирода добивалась: отруби ему голову, за любовь! Страшно, барыня, глядеть было, – над святым прямо издевались, да еще и под музыку. И клюквы надавили, похоже чтобы на кровь было, как ей святую главу на серебряном блюде подали. Мы с Аксюшей, и еще набралось со двора народу, глядим из прихожей, – да чего ж это такой делают-то, а?! да как так попускают!.. Пришел черный, огромный, с косарем, по самое пузо голый, и несет ей главу на блюде, из глины они слепили, и кровь будто с блюда капает, прямо Катичке на кисейку, и голую ее ногу видно. Стала она на главу глядеть, хохотать... – стук!.. – позади меня об пол что-то. Я так и вздрогнула. А это иконка из уголка упала, в прихожей которая висела, от жильцов осталась. Надвое и раскололась! Не сказала я своим, что их расстраивать, знаю – к худу. И Аксюша тоже – «ой, нехорошо как, к упокойнику!» Связала потом иконку, повесила. Лица на ней уж не видно было, старенькая, а словно Никола-Угодник-батюшка, по облику. И со двора которые были, стали уходить, – «ишь, – говорят, – как нехорошо!»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.